

Владимир Одоевский

# Черная перчатка



# Владимир Фёдорович Одоевский

## Чёрная перчатка

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=645655](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=645655)  
Владимир Фёдорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

### Аннотация

«Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастья...»

# Содержание

# Владимир Федорович Одоевский Черная перчатка

*Посв. Юл. Мих. Дюгамель  
(Козловской).*

В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастья; она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имений и ни одной тяжбы, было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам.

Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос с своею невестою в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езер-

ского, которого, я думаю, вы знавали; помните: довольно дородный, румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немножко похожим на Франклина. У него жили мои молодые люди; почти с пелен они не расставались друг с другом и заранее, в голове опекуна, они назначались быть мужем и женою. Акинфий Васильевич Езерский был человек во многих отношениях весьма замечательный; природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подалее природного зрения; этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве; его учили по-старинному: заставляли вытверживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли научить его одному: думать о том, чему его учили. Такое ученье, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь: что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование; оттого он думал только половиною головы, чувствовал половиною сердца и оттого часто понимал только половину предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни; этот новый мир не мог не поразить его; но, как дикаря, его поразило равно и хорошее и дурное; то и другое для него смешалось; он и в том и в другом многое не досмотрел, многое пересмотрел, и то и другое перенес

целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставлять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и, назло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям, удесятерил свои доходы; но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. Второпях он прочел Бентама, и мысль о пользе была ослепительным солнцем для Езерского; она навела темные пятна на его собственные мысли; человек показался ему машиною, которая тогда только счастлива, когда действует в урочные часы и для известной цели; поэзия ему показалась вздором, воображение – демоном, которого надобно избегать; всякий нерассчитанный порыв сердца – едва ли не прегрешением. Но, к счастью, он успел прочитать еще Томсона<sup>1</sup>, и мысль о красоте природы связалась в голове его с Бентамовым индустриализмом. Таким образом, Акинфий Васильевич составил себе систему, которая была сме-

---

<sup>1</sup> *Томсон Джемс* (1700–1748) – английский поэт, автор поэмы «Времена года» (1726–1730), в которой любовь к природе и трудовая сельская жизнь противопоставлены праздной и пустой жизни богачей в больших городах. Томсону принадлежит песня «Правь, Британия» (1740), ставшая английским национальным гимном.

сю Бентама, Томсона, Палея<sup>2</sup> и других английских авторов, которых он читал в своей молодости; новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системой, была образцом совершенства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять ее было довольно трудно. К мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из «Четырех времен года». Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он часто толковал о необходимости жить, как он говорил, «сообразно природе». Вследствие этого он восхищался каждым пригорком, каждым изгорбленным деревом; но методизм не заставлял его забываться в этом восторге: он постоянно ложился спать в десять часов, вставал с восхождением солнца и читал к нему Томсоновы стихи; после стихов он пил чай, выкуривал две сигары (ни больше, ни меньше) и садился за работу, которая продолжалась до трех часов; в три часа выходил гулять и к обеду, даже когда обедал один, выходил в белом галстуке и башмаках. Во всех его действиях явственно отражалась эта, благодаря Бога, непонятная русскому человеку английская односторонность, от которой зависят все достоинства и все недостатки английских произведений, от которой англича-

---

<sup>2</sup> *Палей Вильям* (1743–1805) – английский консервативный богослов и публицист.

нин знает пару колес в машине, пару мыслей в жизни, и знает превосходно, но засим ни о чем в мире не имеет никакого понятия. Несмотря на эти странности, привычка к труду и порядку давала Акинфию Васильевичу важное преимущество над всеми его сверстниками. Он один успевал делать то, чего не могли сделать десять человек; от того самого дела у него было множество; он любил хлопотать, так как другие любят ничего не делать; а как охотников в последнем роде тысячи, то Езерский был всесветным опекуном, председателем всех возможных комиссий по делам своих приятелей и посредником во всех ссорах.

Разумеется, воспитание, которое он дал своим питомцам, было сообразно его системе: он приучил Марию к женским рукодельям и к женскому смирению, а графа ко всем коммерческим и гимнастическим упражнениям: оттого Мария прекрасно умела делать чай и самые тоненькие тартинки с маслом; плум-пудинг и минцпайзы ей были очень хорошо знакомы; а граф знал тригонометрию, бухгалтерию, славно боксировал, ездил верхом и лазил по канатам; сверх того, оба знали почти наизусть несколько грамматик. Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе. Действительно, никакая другая книга, никакая мысль не попадала к ним ни в руки, ни в голову, и только за месяц до свадьбы Акинфий Васильевич позволил будущим супругам прочесть «Кларису



Гарло»<sup>3</sup> Ричардсона.

Свадьба графа Владимира и Марии не была новостью для города, но все непритворно ей радовались. В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое: это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравером, которыми невольно любуешься, забывая, что в эти прекрасные создания уже положено семя той нравственной арифметики, над которою так горько плакал Байрон. Действительно, в них был род магнетизма, который производил то, что никто не завидовал им, никто не роптал на судьбу, видя их счастье, но смотрел на него как на право собственности молодых людей. Правда, толпы молодых людей кружились вокруг прекрасной Марии, женщины невольно заглядывались на статного Владимира; но это было удивление, а не ревность, не досада; они своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверхность души, оставляя на дне ее черные, тяжелые капли: их свадьба казалась веселым детским праздником, которым все любят и которому никто не завидует.

Венчание кончилось. Владимир нежно поцеловал свою Марию; в церковь и в дом набрался почти целый город; поздравляли новобрачных, но к двенадцати часам все разъехались, оставя на свободе молодых. Дядя, заступавший для

---

<sup>3</sup> «Клариса Гарлоу» – известный роман в письмах английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689–1761), автора многотомных «семейно-нравоучительных» произведений.

них место отца, равно посаженные отцы и матери, исполнив домашние обряды, удалились. Молодые были уже в спальне и с детской невинностью любовались убранством комнаты, которая до тех пор была для них секретом, как вдруг на белом атласном диване они увидели черную перчатку. Сначала Владимир подумал, что ее забыл кто-нибудь из гостей, но кому же могло прийти в голову приехать на свадьбу с черной перчаткой? С некоторым чувством суеверного страха он поднял ее и ощупал в ней пакет с надписью на имя их обоих. С трепетом Владимир сорвал печать и с ужасом прочел следующее:

«Почитаю нужным вас уведомить, что ваше счастье расстраивает мое счастье, что исполнение ваших желаний уничтожает все планы моей жизни. А так как прощительно человеку любить себя больше других, то я положил себе твердым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку, ибо только вашим страданием я могу достигнуть моей цели. Если это мне не удастся, то по крайней мере я буду иметь наслаждение мстить вам, и это первое посещение есть только первая степень того зла, которое я вам przygotowляю. Одна ваша разлука в ту минуту, когда вы будете читать эту записку, может спасти вас от моего мщения. Залог, мною оставленный, может показать вам, что для меня не существует ни дверей, ни затворов. Осмелюсь поднять его, слишком счастливая чета!

*Черная Перчатка».*

Владимир сначала не хотел показывать этого письма Марии, но Мария, опираясь на его плечо, успела прочесть все письмо до конца.

– Это, верно, шутка... мистификация... – сказал Владимир нетвердым голосом; но невольно рука его дрожала.

– Нет, – отвечала Мария, – это не шутка и не мистификация; кому бы так жестоко шутить с нами?

– Но кому и желать нам зла? – заметил Владимир.

– Вспомни, не оскорбил ли ты кого-нибудь? Не давал ли ты кому-нибудь обещаний?

Тут Мария значительно взглянула на Владимира, и голос ее прервался.

– И ты можешь это думать, Мария? – сказал нежно Владимир. – Уверяю тебя, это шутка, глупая шутка, которая не пройдет даром. Если это женщина, – нет нужды, если мужчина – тогда... – И глаза Владимира заблестали.

– Тогда что? – спросила Мария.

– О, ничего! – сказал Владимир, – я постараюсь отплатить тою же монетою.

– Нет, твои глаза говорят не то... Слушай, Владимир, обещаю тебе ничего не предпринимать, не сказавши мне.

– О, к чему эти обещания?

– Обещай мне по крайней мере ничего не предпринимать до завтра.

– О, мы, право, дети! – сказал Владимир, рассмеявшись, – глупый проказник подшутил над нами, а мы, как будто в

угодность ему, провели целый час в тревоге.

– А если он здесь и подслушивает нас? – заметила Мария.

– В самом деле, это не пришло мне в голову, – сказал Владимир. С этими словами он взял свечу, обошел кругом комнаты и отворил дверь, чтобы выйти из спальни.

– Не ходи один, – сказала Мария, – надо позвонить людям.

– Ты хочешь, чтоб стали смеяться над нами?

– Так пойдем вместе.

Они вышли из спальни. Огни везде погашены; все в доме спало; на дворе слышалась лишь доска сторожа. По огромным комнатам длинная тень ложилась от свечи. Мария невольно вздрагивала, когда случайно ее собственный образ отражался в зеркалах, когда шорох шагов их повторяло эхо и мерцающий свет мгновенно производил на складках штофа причудливые очерки. Так они обошли весь дом: все было тихо, они возвратились в спальню; тогда пробило уже три часа утра, и когда Владимир отдернул занавеску, заря уже занималась.

Дневной свет имеет чудное свойство: он придает невольную бодрость и спокойствие рассудку. То, что кажется огромным и страшным во мраке ночи, рассыпается с дневным светом, как сновидение. Это чувство ощутили наши молодые люди.

– Мы, право, дети, – повторил еще раз Владимир, – кто видал, чтоб первую ночь брака провести над глупую запискою?

С этими словами он подошел к камину и едва не бросил в него перчатку, но удержался при мысли, что не худо показать ее дядюшке.

– Неужели этот вздор может поколебать наше счастье?

– Никогда! – отвечала Мария, обнимая его.

На другой день молодые не забыли показать таинственную записку дядюшке. Дядюшка посмотрел на записку с своим обыкновенным, систематическим хладнокровием и сказал:

– Это какой-то вздор, но которого, однако ж, не надобно так оставлять. Отдайте мне эту записку; вам нечего ею заниматься; это уж будет мое дело.

Мы уже сказали, что дядюшка был человек весьма замечательный в своем роде и что строгий порядок в жизни, неизменяемое хладнокровие в самых затруднительных обстоятельствах и несколько удачных финансовых оборотов приобрели ему доверенность всех его знакомых. В самом деле, когда он произносил: «Это уже мое дело», – своим твердым, методическим голосом, с ударением на каждом слове, то ему нельзя было не поверить.

Когда все визиты новобрачными были сделаны, Акинфий Васильевич потребовал, чтоб молодые непременно отправились в деревню. Ему очень хотелось отправить их туда в первый день брака, по английскому обычаю, и в первый раз в жизни он, против воли, уступил настоятельным просьбам родственников.

– Поезжайте в деревню, – говорил Акинфий Васильевич, – первое – вы должны узнать друг друга, а второе – человек на сем свете не должен жить бесполезно. Ты, Владимир, должен заняться хозяйством; помни, что всякий владелец земли на сем свете должен постоянно увеличивать ее производительную силу и что тот, кто ежегодно не увеличивает своего дохода, теряет все то, что бы он мог приобрести. Я нарочно не еду с тобою: я хочу, чтоб ты мог привыкнуть к своим силам, не полагаясь ни на чью помощь, и чтоб, когда я умру, – ибо смерть есть необходимый и благодетельный закон природы, – ты и не заметил бы своей потери.

– Дядюшка, и вы можете говорить об этом так хладнокровно?

– Ничего, ничего, пустое. Смерть есть закон природы, а все в природе прекрасно; люди должны умирать, потому, – прибавил дядюшка с значительным видом, – что люди должны родиться; итак, – продолжал он, – ты будешь заниматься хозяйством, и ты также, Мария. В деревенском доме, в кабинете, на бюро, ты найдешь тетрадку, которую я написал для вас уже лет десять тому назад и в которой подробно описано, что должен делать муж и что должна делать жена. Исполните мои советы с точностию – и раскаиваться не будете. Сначала покажется трудно, а потом все будет легче и легче. В затруднительных случаях обращайтесь ко мне с вопросами. Более всего старайтесь умерять свои страсти, и даже совсем уничтожать их – после этого все будет легко. Я буду в сим-

бирской деревне, ибо провести лето в городе есть преступление. Здесь не видишь природы, а что может сравниться с природою? «Ничто так не возвышает души, как восхождение солнца», – говорит Томсон. Теперь поезжайте с Богом; дорожная ваша карета готова, – я сам занимался ее устройством – и лошади уже приведены.

Владимир и Мария бросились со слезами обнимать дядюшку, но он остановил их:

– Не нужно ни слез, ни прощаний; это все бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезать...

Однако ж Владимир и Мария не послушались строгого совета дядюшки и наплакались досыта... Наконец они сели в карету, а дядюшка отправился к себе, потому что он еще не успел выкурить своей второй сигары.

Мы не будем следовать за нашими путешественниками по длинной дороге, по косогорам, по испорченным мостам; не будем останавливаться за порчей экипажа, за спорами с станционными смотрителями и бесконечными жеребьями извозчиков, – и предположим, что они доехали до своей деревни в то блаженное время, когда Россию пересекут во всех направлениях железные дороги, чего с нетерпением ожидал не один Акинфий Васильевич, несмотря на мудрые толкования некоторых философов, которые воображают, что с железными дорогами истребится столь смиренный и трудолюбивый

класс ямщиков. В своей деревне, под благословенным небом Тамбовской губернии, по которому не в шутку, а в самом деле ходит яркое, теплое солнце, молодые нашли дом, устроенный со всеми просвещенными удобствами жизни. В кабинете, на бюро, действительно находилась положенная десять лет тому назад тетрадь, писанная рукою Акинфия Васильевича. Мы не можем себе отказать в удовольствии выписать несколько строк из этой истинно практической тетради:

«Муж и жена суть две половины одного и того же существа; но каждая из них имеет свои особенные свойства и обязанности и своим образом должна способствовать к достижению единой цели природы и общества – общей пользы:

1) Муж и жена встают в одно время. Летом тотчас идут на свежий воздух и наслаждаются природою. Ничто столько не укрепляет сил человека, нужных ему для дневных трудов его, как прекрасное местоположение, освещаемое лучами восходящего солнца, когда вся природа оживает и каждый цветок поет гимн Вседержителю. За этим следовало несколько стихов из Томсона, и в конце примечание: „Зимою супруги остаются в своей комнате“.

2) В семь часов супруги завтракают (чай или кофе); после завтрака супруг отправляется осматривать дневные работы; к его занятиям принадлежат пашня, сад, луга, огороды, о чем подробнее описано в тетради под N 26. К хозяйству жены относится все домостройство: молочный двор, кухня, прачешная, разные домашние рукоделья, о чем подробнее описано



в тетради под N 28.

3) К полдню все распоряжения должны быть кончены, и супруги собираются в столовую для второго завтрака (хлеб, масло и холодный ростбиф); а как замечено, что все животные после полудня предаются сну, из чего должно заключить, что того требует благодетельная природа, потому и супруги должны это время посвящать отдыху...»

Мы не будем более продолжать этой выписки, но можем уверить, что наши молодые прочли всю тетрадь с должным уважением и даже ни разу не улыбнулись.

Но исполнение дядюшкиных предписаний не имело такого успеха. Началось с того, что молодые в первый день с дороги проспали до полудня. От этого весь день пришел в беспорядок. Они не успели вовремя насладиться природою, пошли гулять во время общего естественного сна; завтракали в половине второго, отчего принуждены были обедать в восемь; после чего они прогуляли вплоть до полуночи и легли спать часу в третьем утра. От этого они на другой день снова проспали до полудня, и таким образом нечувствительно все дни прошли наизворот. Назначение работ приходилось в то время, когда работники отдыхали; посещение скотного двора тогда, когда все коровы были на выгоне, и так далее. Донесения приказчиков откладывались; наконец их накопилось столько, что уже прочесть их сделалось невозможным; мало-помалу английское систематическое хозяйство превра-

тилось в обыкновенный быт русского барина, где все истребляется, поедается и выпивается, и никто ни о чем не знает и не заботится, полагаясь на православное живёт, которое проживает гораздо более, нежели вся возможная роскошь.

Не мудрено, что хозяйство скоро надоело молодому графу. К тому же он и графиня невзначай заметили, что им было скучно, что им случалось проводить целый день с глазу на глаз и промолчать; это происходило очень естественно и от очень простой причины: потому что им говорить было не о чем. Люди, у которых воображение и чувство развиты, проживут целый век и всегда найдут сказать друг другу что-нибудь новое; но нельзя же целый век говорить о лошадях или о тартинках с маслом; а оттого, что супругам не о чем было говорить, они стали друг на друга дуться; но как и дуться целый век нельзя, то они стали от скуки браниться, а наконец и это привлекательное занятие им скоро надоело. К счастью, граф нашел себе дело: в околотке было много псарных охотников; он познакомился с ними, травил лисиц и зайцев и пил за двух, по-русски и по-английски. Молодая графиня познакомилась с соседками, которые, однако ж, ужасно ей надоели и с которыми она скоро рассорилась. Графиня стала невольно вспоминать о московских гостиных, о московском театре. В этом занятии прошло лето и часть осени.

Между тем случилось небольшое происшествие, которое произвело совершенный переворот в мыслях графа. В той губернии начались выборы; несколько из поклонников гра-

фа, каких всегда много у всякого богатого человека, явились к нему с планами и рассуждениями о том, как бы для них и для их дел было приятно, а для графа почетно, если б он согласился быть предводителем их уезда. Молодому графу эта мысль очень понравилась; в ней было что-то новое, а уж ему все старое очень надоело. Он изъявил свое согласие с большим снисхождением; в голове его уже вертелись планы для преобразования всего уезда, ибо в молодом графе было нечто дядюшкино, разбавленное обыкновенною нашею беззаботностию и ленью. Скоро эта мысль овладела совершенно остатком его воображения, и звание предводителя даже грезились ему ночью. В назначенный для выбора день граф надел мундир и явился с твердою уверенностию быть выбранным. Но каков был ему удар, когда вместо его выбрали другого! Он не мог прийти в себя от изумления.

– Что это значит? – спрашивал он то у того, то у другого, – какое преимущество имеет мой соперник? он не богаче, может быть не умнее?..

Кто отнекивался, кто отвечал обиняками, многие потихоньку смеялись над столичными жителями со всею провинциальною злостию.

– Я вам скажу, – сказал ему наконец один из соседей постарее, – виновато не дворянство, а вы. Ваш соперник человек чиновный, а вы, ваше сиятельство, извините, не имеете никакого чина.

– Никакого чина! – воскликнул граф, – никакого чина? –

и поспешно уехал из собрания. Эти немногие слова открыли для него целый мир, которого существование он и не подозревал.

В самом деле, дядюшка, по своей английской системе, никак не предполагал, что его племяннику нужно будет когда-нибудь служить; он хотел образовать из него отличного агронома, то, что он называл «владельца земли», и воображал, что весьма достаточно будет графу прослужить для проформы года два и потом зажить в своем поместье наподобие английского лорда или фермера.

Нечего сказать, жизнь прекрасная, но не по нас. Владимир так привык к дядюшкину попечению обо всем, что до него ни касалось, так привык думать его мыслями, что когда дядюшка сказал ему: «невозможно служить и заниматься своими хозяйственными делами», или «владелец земли обязан посвящать всю жизнь свою улучшению своего состояния», — Владимиру не пришло в голову возражать Акинфию Васильевичу, а просто на другой же день он подал в отставку и вышел из службы в звании чиновника 14-го класса.

Происшествие на выборах сильно подействовало на молодого человека; его самолюбие, которое уже расшевелилось ожиданием предводительского места, теперь еще сильнее было взволновано; общая наша болезнь, чиновничество, или, если угодно, честолюбие, стало мало-помалу закрадываться в его душу; уж ему казалось, что проходящие по дороге не

так ему кланяются, потому что он видел, с каким почтением на выборах увивались вокруг нового предводителя, потому что он заметил, какое действие производили на окружающих кресты и звезды, не столько заметные в столицах. В эти несколько часов Владимир постарел десятью годами. «Что мне гнить в этой деревне! – говорил он сам себе, – мне надобно служить, мне надобно чинов, крестов, звезд, блеска, почестей».

Мало-помалу в уме его начались те вычисления, которые служат обыкновенным, постоянным занятием для закоренелых чиновников; он рассчитал, сколько лет потерял он напрасно, досадовал на дядюшку, на его английскую систему, на самого себя, на свою женитьбу, словом сказать, на все на свете.

Он возвратился домой очень не в духе. Марии также надоели соседки своими рассказами о разных провинциальных сплетнях, которые обыкновенно бывают во время выборов, – Мария также была не в духе. В этот вечер они снова побранились – за что, сами не знали, так, потому что надобно было побраниться, каждому сорвать на ком-нибудь сердце: это одна из выгод супружеского состояния.

Дело в том, что назавтра оба стали мало-помалу заговаривать о необходимости оставить деревню; но как объявить об этом желании дядюшке, который писал к ним каждую почту, напоминал им, какую полевою работою должно было заниматься в то время, толковал о важности сельского хозяйства

вообще и о красоте сельской природы в особенности?..

Одно обстоятельство вывело их из затруднения: Мария сделалась беременною. Супруги не замедлили об этом уведомить дядюшку и объявить ему, что положение графини требует непременно, чтоб они переехали в Москву или Петербург.

Хотя дядюшке весьма хотелось предоставить беременность графини благотворной силе природы, но, подумав немного, он признал за лучшее согласиться на желание молодых и вместо природы ввериться хорошему акушеру; к тому же, самого его опекунские дела призывали в Петербург, – и наконец он назначил этот город местом свидания с молодыми. Молодые люди только того и ждали и решились в тот же день выехать, несмотря на распутицу. Его тешили мечты о чинах и крестах, ее – петербургские балы; но посреди этих веселых приготовлений они получили письмо, запечатанное черною печатью. Владимир хотел было скрыть это письмо, но Мария увидела его, и – есть ли возможность не удовлетворить любопытству женщины? В этом письме были следующие немногие слова:

«Вы теперь на верху вашего блаженства; вы скоро будете отцом и матерью; все вам удастся, все исполняется по вашему желанию; но берегитесь и помните, что враг ваш не дремлет и что всякое счастье ваше есть для него новый повод вас ненавидеть и

приготовлять вам втайне всевозможное зло.

*Черная Перчатка».*

Это письмо поразило молодых людей; они не могли постигнуть, кто мог быть им таким закоренелым врагом. В словах «все удастся» Владимир видел свою неудачу на выборах: он подозревал, не участвовала ли в этом происшествии эта досадная Перчатка; тем больше ему захотелось, что говорится, выйти в люди и своим весом задавить неотвязчивого врага. Марию мучило другое чувство: любопытство узнать, кто была эта Черная Перчатка и что могло быть причиною ее странных преследований; она надеялась в столице скорее объяснить эту загадку, нежели в своем захолустье; вы видите, что Мария сделалась также гораздо опытнее.

Как бы то ни было, все эти мысли не помешали приготовлениям их к отъезду. Они с почтением положили дядюшкину тетрадку на прежнее ее место и сели в карету, с сожалением посмотрели на окружавшую их дворню, которая плакала навзрыд, а втайне, разумеется, радовалась, что господа уезжают; некоторые из верных слуг на радости были уже вполпьяна; они плакали громче других.

После долгого странствия наши супруги въехали в Петербург, который представился им во всем своем великолепии: в дожде, слякоти, изморози – это было 1 мая.

Они нашли дядюшку уже в Петербурге. Этот человек, рожденный для беспрестанной деятельности, успел уже все им приготовить. Дом в лучшей части города, в котором да-

же иногда бывало солнце, мебели, всю прислугу, даже повивальную бабку и акушера – все предвидела его неутомимая заботливость. Первые дни наши молодые провели довольно скучно. Надобно было отдавать дядюшке отчет в том, чего они не делали, рассказывать о том, что их не занимало, и скрывать настоящую причину своей поездки в Петербург. От всего этого в их маленьком кругу родилась какая-то принужденность; если б они были в другом городе, дядя скоро догадался бы, что его молодые метят не в английские фермеры, а что им просто хочется, как по-русски говорится, пожить. Но петербургская жизнь, где на каждое дело дается по минуте в день, и то с изъясном, где человек походит на молотильню, которая стучит и трещит беспрестанно, пока совсем не изломается, – в такой жизни молодым легко было избежать от дядюшкиной проницательности.

Скоро в этой жизни постарели наши молодые. Графиня бросилась в эту пропасть с жаждою наслаждений, шума, разнообразия, танцев, волокитства, – граф с разжженною, свежею страстью честолюбия; скоро постигнул он все тайны этого пестрого мира, скоро научился он искусству обращать на себя внимание, выжидать времени, знать, с кем познакомиться, к кому оборотиться спиной, выучился тем словам, которые бывает иногда выгодно бросить в воздух, выучился кстати купить и кстати продать, выучился немножко лгать, немножко доносить и немножко клеветать. Он не спешил, не жаловался, но, как искусный полководец, тихо проводил



свои траншеи.

Роды графини прекратили на время эти занятия супругов. Дядя, до сего времени спокойный, уверенный в полном успехе своей превосходной системы, наконец начал догадываться, что от него что-то скрывают. Например, он очень удивился, когда молодой граф не умел рассказать ему баланса дебета с кредитом по тамбовской деревне, ни объяснить ему, какое действие произвел в урожаях засеянный лет десять тому назад Акинфием Васильевичем лес. Но каково было его удивление, когда однажды племянник показал ему письмо от одного значащего человека, в котором приглашали графа вступить в службу, и когда вслед за тем граф с жаром начал ему доказывать о врожденной своей склонности к дипломатической части; когда он стал по пальцам ему рассчитывать все выгоды, его ожидающие, и все это в ту самую минуту, когда Владимир готовился быть отцом, «главою домашнего государства, естественным наставником и руководителем детей своих», как говорил Акинфий Васильевич, когда акушер уже был возле комнаты графини. Акинфий Васильевич был изумлен, поражен и в первый раз в жизни потерял в голосе свою обыкновенную твердость и решительность; он даже не нашелся, что ответить молодому честолюбцу. Первый шаг был сделан.

Роды кончились благополучно, только ребенок вскоре после того умер – повивальная бабка говорила, оттого, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцевала перед

родами; но акушер говорил, что ребенок умер оттого, что не имел средств для продолжения своей жизни.

Графиня скоро оправилась. Был великий пост: балы прекратились, графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине поутру было скучно; на дворе выл ветер, на улице такая же была метелица, как в жизни и в голове петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки; какой-то удалец давал концерт, кажется, на варгане, да графине было все равно: ей хотелось только куда-нибудь выехать. Графа давно уже не было дома.

В концертной зале было мало; но графиня была одета с щегольством по привычке. Мысль, что она осиротевшая мать, что она молода, недурна собой, что она недавно освободилась от болезни, придавала графине и нравственную и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестию. Когда графиня проходила по зале, мимо нее мелькнуло лицо как будто бы ей знакомое; возле этого лица было другое, в самом деле ей знакомое. Это последнее был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде: и на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью, в карете у подъезда, — люди, которые обо всем и всех спрашивают, на все и всем отвечают, которые готовы говорить даже с нашими писателями нравов, не опасаясь их глубокомысленной и тонкой наблюдательности. Этот господин, разуме-

ется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму; он не замедлил подойти к ней с обыкновенными расспросами.

– С кем вы сейчас говорили? – спросила графиня.

– Это ваш старинный знакомый, Воротынский.

– Старинный знакомый, – повторила графиня, – тому лет десять я танцевала с ним на детских балах, с тех пор я потеряла его из виду.

– Он сию минуту просил меня его вам представить... Позвольте?..

– О, без сомнения.

Молодой человек подошел, старался вспомнить то, о чем давно он забыл, разные приключения детства, заметил шутя, что он и тогда уже волочился за графиней, и просил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила все давно забытое, как вдруг посреди самого жаркого разговора она остановилась в невольном смущении: она заметила, что на Воротынском были черные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведенное им на Марию, и также невольно смутился; но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила:

– Что значат эти черные перчатки? разве вы в трауре?

– В трауре, графиня.

– По ком?

– А на этот вопрос позвольте не отвечать: вы будете сме-

яться.

– Разве вы думаете, что я такого веселого нрава?

– Мне так кажется: вы так счастливы.

При этой фразе графиня снова было задумалась, но тотчас обратилась с новым вопросом:

– Скажите же, по ком вы в трауре?

– Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня, но с условием – не смеяться.

– О, полноте; я хочу непременно знать, по ком вы в трауре?

– По самом себе, – с важным видом сказал молодой человек.

Графиня захохотала.

– Разве вы умерли?

– Я вам сказал, что вы будете смеяться.

– Ваши слова или не иное что, как шутка, или они очень важны.

– И то и другое, графиня; в жизни все перемешано.

– Вы говорите о жизни, как будто вы ее знаете?

– Знаю, и очень давно.

– Вы не женаты?

– Нет.

– Так вы ничего не знаете.

Последние слова невольно сорвались с уст графини. Они оба замолчали. Не знаю, что происходило в душе молодого человека; и трудно было бы узнать: он принадлежал к чис-

ду тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть – и не из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить с равнодушной улыбкою, о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было, как его одежда: просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был бледен, черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его; лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая фешенебельность, – разгадать было трудно: все это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкою для всех и, может быть, больше всего для самого себя.

На графиню он произвел удивительное впечатление. Смутно представлялось ей, что между этим новым знакомцем и Черною Перчаткою существовала какая-то связь. Ее женскому самолюбию льстила мысль, что она зародила к себе исключительную ненависть, которую тайный, едва слышимый голос объяснял ей другим образом. Она страшилась и мучилась любопытством. Последнее превозмогло.

Музыка снова связала нить прервавшегося разговора.

Несчастный артист, хлопотавший в оркестре, никак не ожидал, что он фальшивую ноту подаст повод к объяснению между двумя лицами, которых так долго разделяло пространство и время. Эта фальшивая нота напомнила скрипача, игравшего во время танцевальных уроков, на которых графиня и Воротынский встречались. Этот скрипач напомнил обстоятельство, о котором совсем забыла графиня, что Воротынский в своем детстве всегда носил на лице повязку. Эта повязка напомнила, что все дети чуждались бедного больного, и дала Воротынскому повод рассказать графине, как судьба его преследовала с самого детства; тут уже разговор стал цепляться за каждое слово.

Графиня до сих пор видела вокруг себя людей богатых, здоровых, краснощеких, довольных собою, для которых несчастье состояло в проигранной партии виста. Посреди этого довольства графине иногда бывало скучно, но отчего — она не понимала. Она не смела себя назвать несчастливою: выговорить это слово ей казалось странно и неприлично. Воротынский, говоря о себе, объяснил ей ее собственное чувство и смутным ощущениям ее души придал жизнь и слово. Он рассказал ей о несчастье быть счастливым, о несчастье быть богатым, несчастье ни в чем не нуждаться, несчастье исполнять все свои желания, несчастье прожить несколько лет в чужих краях, наконец о тех тайных, необъяснимых несчастьях, которые тяготят душу человека с умом и чувством, как, например: несчастье слушать хорошую музы-

ку, несчастье смотреть на хорошую картину, несчастье читать хорошие стихи, вообще несчастье жить, – словом, все эти несчастья, которые очень смешны в романах и повестях, но которые на самом деле так же существенны, которым так же невольно веришь, как и тем обстоятельствам, которые в свете исключительно пользуются названием несчастных.

Все это понимала графиня, хотя эти слова были для нее новы; она вслушивалась в них, как будущий ренегат в слова человека, обращающего его к своему расколу; часто хотела она направить разговор на предмет своего любопытства; но молодой человек умел избегать вопросов: они служили ему только ступенькой к тому, что ему хотелось высказать графине. Он искусно оставлял мысль необъясненную, слово недоговоренным – и этим средством сказал ей много такого, чего не говорил...

«Глупые читатели! – вскричал однажды аббат Гальяни<sup>4</sup>, – вы читаете только то, что написано черным по белому, одне строчки; умейте читать белое по черному, умейте читать между строчками».

Воротынский обладал этим искусством в совершенстве: в пробелах между его словами были другие слова, которых он не произносил, но которые таинственный голос шептал на ухо графине.

Как бы то ни было, графиня возвратилась домой с мыслию, что она богата, молода, прекрасна, что муж ее здоро-

---

<sup>4</sup> Аббат Гальяни (1728–1787) – итальянский философ и публицист.

вый, краснощекий мужчина, который славно ездит верхом и прекрасно боксирует, и что посему она очень, очень несчастлива. Она любила повторять себе это новое, свежее для нее слово; она старалась припоминать все происшествия своей жизни и искать их мрачную сторону; она находила, что во всех наслаждениях, которые она доселе испытывала, ей чего-то недоставало, словом, она возвратилась домой убежденною, что она очень, очень несчастлива. Графа не было дома; он прислал сказать, чтоб его не ждали к обеду. Графиня была очень рада этому; в доказательство своего несчастья она не велела себе подавать обедать, бросилась в кресла своего кабинета и принялась любоваться своим несчастьем, как ребенок новою игрушкой: она брала то ту, то другую книгу – ей не читалось; роман был в ее голове – чужие ей казались сухи и холодны. В одиннадцать часов возвратился граф с раскрасневшимся лицом и в очень веселом расположении духа: он был на импровизированном завтраке с людьми случайными, и дела его шли очень хорошо. Граф вошел в кабинет своей жены с громким смехом и с дюжиною каламбуров, которых он набрался во время завтрака. Этот вход смутил и огорчил графиню: он нарушил ее горькое спокойствие, и когда граф бросился в постель и заснул, графиня осталась в креслах, наклонила голову на холодный мраморный столик и тихо говорила: «Как я несчастлива, как я несчастлива!»

Утренняя заря застала графиню в этом положении; тут невольно неясная мысль пробежала в ее голове; она быст-



ро подбежала к зеркалу и с ужасом заметила, что бледность и изнеможение ее лица перешли ту ступень, на которой болезнь перестает в женщине быть интересною. Она наскоро закрутила свои длинные каштановые волосы и от страха даже почувствовала голод. Тихими шагами она прошла в столовую, потом в буфет, очень обрадовалась, когда нашла в нем забытое холодное блюдо и – увы! с большим аппетитом покушала, а потом легла в постель и започивала.

Я знаю, что некоторые из моих читателей сочтут такое поведение моей графини совершенно неприличным: героиня голодна! героиня кушает!.. Что делать! «Таков закон благодетельной природы!», как сказал бы Акинфий Васильевич. Я боюсь также, чтоб мои читатели не подумали, будто бы я смеюсь над бедной графиней, или нарочно представляю ее в смешном виде: эта мысль далека от моего воображения. Нет, я понимаю страдания графини, я верю им; эти страдания, повторяю, существенны, ибо всякое страдание может измеряться лишь организацией того существа, которого оно поражает. Нет сомнения, что насекомое, которого вся нервная система состоит из одной ниточки, мало страдает; то ли дело с человеком, которого все тело перепутано нервами? То же и в нравственном мире: у иного душа сделана из черепаховой скорлупы, колите ее сколько хотите – что ему нужды! У другого душа нежнее глазной оболочки; троньте перышком – она придет в сотрясение... Вообразите себе молодую девушку с пламенным воображением, с глубокою чувстви-

тельностью, воспитанною человеком, каков Акинфий Васильевич, для которого воспитать значило: выкормить, сделать богатым, который, как мы уже сказали, понимал все физические потребности жизни и ни одной сердечной, поступавший с душою словно человек, который, желая предохранить свою руку от опасности быть вывихнутою, привязал бы ее на несколько лет без движения. С графом эта операция удалась совершенно, потому что он родился безрукий; но с графиней было другое дело: долго она не участвовала почти ни в чем, что с нею ни делали; но настала минута, и то, чего недоставало в воспитании дядюшки, дополнилось само собой. Кто виноват, если это новое воспитание было наыворот обыкновенному? Первым учителем графини была скука; потом тайное чувство недовольства, темное, невыразимое; потом любопытство, возбужденное человеком в черных перчатках; потом наслаждение его слушать, или, лучше сказать, говорить его словами, словами, которых она прежде не слыхала и которые были ей сладки, как на чужбине звуки далекой родины... Не обвиняйте бедной графини, не смейтесь над нею: много было смешного в ее страдании для проходящих, но она страдала, как страдает бедное нежное животное, из южной отчизны перенесенное равнодушным ученым на холодный север, в коробке, под номером. Насмешливая природа всякое страдание смешивает с чем-то смешным: на лице мертвого есть улыбка.

Вот два часа пополудни. По шумной улице мчатся блестящие экипажи: в великолепной гостиной солнце светит в штофные занавески; мебели расставлены в беспорядке, но с какою-то изысканностью. Зачем эта молодая женщина, одетая в богатом пеньюаре, обшитом кружевами, беспрестанно встает с своего места? отчего она то подходит к окошку, то перед зеркалом оправляет четырехугольно загнутые волосы? Она в беспокойстве, она чего-то ждет необыкновенного и потом старается себя уверить, что она покойна, что это утро похоже на вчерашнее... Но вот раздался звонок. «Воротынский», – проговорил вошедший официант. Графиня бросилась в кресла; сердце ее билось сильно, но лицо ее было спокойно и холодно. Этот визит был короток; теперь это были не люди нечаянно встретившиеся и, как члены масонской ложи, узнавшие друг друга по тайным знакам; нет, это были расчетливые торговцы, которые желают скрыть друг от друга – один тайну покупки, другой тайну продажи. Они говорили о предметах самых незанимательных; разговор прерывался на каждой минуте, но увлекал их обоих. Через полчаса Воротынский встал; графиня сказала ему только одно слово: «au revoir j'espere»<sup>5</sup>, – но от этих слов кровь бросилась в голову молодого человека.

У графини вечера, музыкальные утра; графиня очень любит пикники и кавалькады; во всех этих удовольствиях

---

<sup>5</sup> До свиданья, я надеюсь (франц.).

участвуют и молодые мужчины и молодые дамы. Граф почти всегда сопутствует жене своей, но как-то всегда остается назади возле одной молодой дамы, а графиню и Воротынского всегда уносят лошади вперед; или случается напротив: граф ускакивает вперед, а графиня остается назади; в этих случаях обыкновенно случаются маленькие несчастья; у графини разнуздывается лошадь или распускается стремя; это могло бы иметь неприятные последствия, но, к счастью, в это время бывает возле графини Воротынский, который все это приводит в порядок. Он называет себя стремянным графини – *escuier de Madame*. Так называют его и другие.

Время идет, и очень весело. Прошло лето; известно, что все семена интриг сеются на петербургской почве летом, на дачах, под шум проливного дождя, цветут осенью и поспевают зимой. Искусный садовник умеет возвращать это растение в одно лето; но графу, как человеку еще неопытному, надобно было больше времени. Как бы то ни было, однажды утром он приехал к своему дядюшке с объявлением о том, что он получил место в\*\*\*. Дядя вздохнул и только мог промолвить:

– А имение?

– А вы, дядюшка? – отвечал молодой человек.

– Я уже стар, – отвечал дядя, – все, что я могу сделать, это постараться продать его.

– Это бы не худо, – отвечал граф, – но есть маленькое препятствие: оно заложено.

– Заложено! – воскликнул дядя, – разве ты имел в виду какую выгодную спекуляцию?..

– Да, любезный дядюшка, и которая мне совершенно удалась.

– Как я рад, любезнейший друг, – сказал дядя, – что ты обратился на путь истинный, и какой хитрец! скрывал от меня свои расчеты. Ну, расскажи мне поскорей, в чем состоит твоя спекуляция.

– Я уж рассказал вам ее, дядюшка...

– Как, когда же? – воскликнул старик.

– А мое определение к месту?

Акинфий Васильевич повесил голову.

– Мне твоим имением заниматься нельзя, – сказал он печально, – а без хозяйского глаза все пойдет вверх дном. Впрочем, если твое имение заложено только в казну, то продать еще можно, и с выгодой.

– Да-с! – сказал граф, – но оно заложено и в казну и в частные руки.

– Дорого стоила тебе твоя спекуляция!

– Не дешево, дядюшка; хорошее даром не дается.

В другое время Акинфий Васильевич рассердился бы; но теперь он был в положении человека, нечаянно слетевшего с лестницы до последней ступени; он оторопел – все его мысли замолкли, заговорила одна природная чистота сердца, и он воскликнул:

– Быть так, без денег жить нельзя: я тебя не оставлю.

Между тем в доме графини происходила другая сцена. Графиня, в задумчивости, с слезами на глазах, сидит в креслах, а Воротынский большими шагами ходит по комнате.

– Графиня! – говорит он, – надобно на что-нибудь решиться: или вы едете с графом, и тогда мы простимся навеки, или, Мария, ты остаешься здесь!

– Остаться здесь? Но знаешь ли, Виктор, что это будет значить?

– Знаю, – отвечал он, – это будет значить, что вы разрываете все связи с своим мужем.

– И ты не боишься за меня? ты не боишься ни мнения света, ни, может быть, укоров моей совести? Ты эгоист!..

Графиня зарыдала... Но молодой человек был неумолим. На лице его, как всегда, не было видно ни улыбки, ни сожаления. Он был спокоен, как на дуэли, когда одной минутой решится участь человека.

– Мнение света! – сказал он хладнокровно, – свет не вмешивается в то, что его не оскорбляет. Он не видит того, что от него не скрывают; он любит откровенность в жизни и любопытен только к секретам; тогда свет начинает доискиваться – и беда той женщине, про которую нечего сказать! свет сердится и наказывает невинную женщину клеветою... Надобно быть решительною в жизни, выбрать ту или другую роль: или быть жертвой сотни глупцов в золотых очках, ко-

торые будут клеветать на тебя для того только, чтоб занять свою даму во время танцев, – или сказать свету. «Я тебя презираю, не страшусь твоих толков, поступаю так, как мне велют мои чувства», – и тогда свет делается смирен, как овечка; он как будто страшится женщины, которая умеет презирать его! Выбирайте, графиня...

Графиня молчала.

– Неужели нет возможности, – сказала она наконец, – согласить эти две крайности? Я понимаю, что тебе жить в одном со мною городе невозможно; но я каждый день буду писать к тебе, ты будешь приезжать к нам...

– И ты называешь меня эгоистом, Мария? Как? мне снова ухаживать за твоим мужем, ловить на лету его глупости, давать им умный смысл и потом подносить ему в виде комплиментов? Этою низкою лестью покупать счастье видеть тебя изредка, пополам со страхом? Нет, Мария, жизнь коротка; и без того она наполнена горечью; зачем наткаться на страдания, когда одним решительным словом можно упрочить свое счастье? Ты сама не каждую ли минуту проклинаешь день своего замужества, не каждую ли минуту боишься, чтоб какая-нибудь нечаянность не прервала наших редких свиданий?..

– Все это так, – отвечала Мария, – но совесть, совесть! ты забыл о ней.

Воротынский вспыхнул, но лицо его даже не покраснело; он хладнокровно взял шляпу и с улыбкой сказал:

– Что касается до совести, то на эту задачу я советую попросить объяснения у его сиятельства, который так жестоко-серд, что лишает нашу сцену одной из лучших танцовщиц.

С сими словами он хотел уйти. Графиня схватила его за руку:

– Что ты говоришь, Виктор?

– Вы знаете, – отвечал он, – что я говорю всегда правду, и всем, кроме вашего мужа, когда уверяю его, что он очень остроумен. Госпожа\*\*\* отправляется, если не с вами, нежная чета, то по крайней мере вслед за вами.

Мария бросилась в кресла; Воротынский удалился.

Однажды Акинфий Васильевич, очень встревоженный, вошел в кабинет молодого графа, которого окружали чемоданы, ларчики и все принадлежности дороги.

– Что это значит? – сказал Акинфий Васильевич, – ты жену свою оставляешь здесь?

– Она сама этого желает, – отвечал граф с замешательством. – К тому же, любезнейший дядюшка, я вам должен признаться, что нам обоим будет полезно разлучиться, разумеется на некоторое время.

– Я тебя не понимаю...

– Видите, дядюшка, – продолжал граф, – мне совестно вам признаться, но нас обоих беспокоят эти странные письма, в которых неизвестный человек грозит нам бедствием, если мы останемся вместе: вы знаете, как опасны тайные враги...



– Кто же это? – воскликнул дядя.

– Черная Перчатка.

– Черная перчатка? Боже мой! знаешь ли ты, что эта Черная Перчатка был не кто иной, как я.

– Как? вы? – вскричал молодой человек.

– Да, мой друг; я счел нужным употребить эту маленькую хитрость. Когда вы женились, я боялся одного, что вы слишком будете счастливы; а как совершенное счастье противно природе, я боялся, что ваше счастье скоро вам наскучит. Я выискивал средства, как бы вам навлечь маленькое беспокойство, которое бы заставляло вас бояться друг за друга и теснее бы укрепило связь между вами.

Молодой граф едва мог удержаться от смеха. Акинфий Васильевич продолжал:

– В это время меня уговорили прочитать роман Вальтера Скотта, а именно «Редгонтлет»<sup>6</sup>; там одна сцена, где девушка из партии якобитов<sup>7</sup> бросает перчатку рыцарю английского короля, дала мне мысль бросить перчатку в вашу спальню с письмом моего изобретения. Теперь ты видишь, что нет никакой причины твоей жене оставаться здесь.

– Благодарю вас, дядюшка: вы нас избавили от большого беспокойства; но все-таки графине со мной ехать нельзя. Вы

---

<sup>6</sup> «Редгонтлет» (точнее «Редгунтлет») (1824) – исторический роман Вальтера Скотта (1771–1832).

<sup>7</sup> Якобиты – политическая партия изгнанных в 1689 году из Англии представителей ко-ролевской династии Стюартов.

заметили, как испортилось ее здоровье.

– Нет, я этого не заметил.

– О, как же! – возразил граф, – с ней беспрестанно делается дурнота, и доктора решительно сказали, что всякое движение ей будет очень вредно.

– Кроме танцев, – печально заметил дядюшка.

– Да... танцы, – сказал граф, – для развлечения; но вообразите себе длинный путь, дурные дороги; если б у нас были, как в Англии, везде шоссе, тогда другое дело... Вы понимаете?

– Понимаю, все понимаю, – отвечал печально старик.

Он видел ясно, что все его планы для счастья его питомцев расстроены, но не мог себя упрекнуть ни в чем. Он устроил их имение, доставил им богатство, упрочил их телесное здоровье, тщательно хранил их от всех порывов того, что он называл воображением, от всего, что могло приводить в движение ум и чувство, и никак не мог растолковать себе, отчего не удалось ему его систематическое на практических правилах основанное воспитание?

Чем же все кончилось? Акинфий Васильевич поехал по деревням заниматься хозяйством и восхищаться природою. Граф поехал в\*\*\* к своему месту, и не один. Графиня осталась в Петербурге.